



Ясовру, если скажу, что не злорадствую, глядя на мамины беды.

Ребенком я столько всего от нее натерпелась, что каждая из теперешних ее напастей воспринимается мной как возмездие — восстановление равновесия во вселенной, где действует рациональный порядок причин и следствий.

Но я уже не могу сравнять счет.

Причина проста: мама все забывает, и я не знаю, как с этим бороться. Ее никак не заставишь вспомнить все то, что она делала в прошлом, а значит, и не навяжешь ей чувство вины. Раньше я ей постоянно напоминала о ее прежней жестокости — как бы вскользь, просто к слову в разговорах за чаем, — и наблюдала, как она хмурится. Теперь она просто не понимает, о чем я говорю; в ее глазах плещется чистая, незамутненная радость. Взгляд блуждает вдали. Если при этом присутствует кто-то из посторонних, он прикасается к моей руке и шепчет: «Не надо. Она не помнит, бедняжка».

Сочувствие, которое она вызывает у других, порождает во мне только горечь и злость.

Я заподозрила неладное еще год назад, когда она по ночам начала бродить по квартире. Кашта, ее домработница, звонила мне каждый раз, жутко напуганная.

— Ваша мама ищет клеенку, — однажды сказала Кашта. — Боится, что вы опишите кровать.

Держа телефонную трубку подальше от уха, я нашарила на тумбочке свои очки. Рядом со мной тихо посапывал спящий муж, беруши у него в ушах светились в темноте.

— Ей, наверное, что-то приснилось, — сказала я.

Кашту это не убедило.

— Я не знала, что вы мочились в постель.

В ту ночь я уже не смогла уснуть. Даже в своем безумии мать умудрилась меня унижить.

Однажды к маме пришла уборщица, и она ее не узнала. Были и другие случаи: когда мама забыла, как платить за электричество, когда она поставила свою машину не на то место на стоянке у дома. Это было полгода назад.

Иногда я пытаюсь представить, что будет в конце, когда она превратится в гниющий овощ. Забудет, как говорить, как контролировать свой мочевой пузырь, и однажды забудет, как дышать. Человеческую дегенерацию можно замедлить, приостановить, но она необратима.

Дилип, мой муж, говорит, что мамину память надо тренировать. Я записываю разные случаи из ее прошлого на маленьких листочках бумаги и прячу их по углам в ее квартире. Иногда она их находит, звонит мне и смеется.

— Даже не верится, что у моей дочери такой жуткий почерк.

В тот день, когда мама забыла название улицы, где прожила двадцать лет, она позвонила мне и сказала, что купила упаковку бритвенных лезвий и не побойтся пустить их в дело, если ее состояние будет ухудшаться. Сказала и разрыдалась. В трубке слышались фоном гудки клаксонов, крики людей. Обычные уличные шумы. Мама закашлялась и сбилась с мысли. Я почти явственно слышала запах выхлопных газов из тарахтелки ее моторикши, почти видела клубы черного дыма, как будто стояла с ней рядом. На мгновение мне стало плохо. Может быть, это худшее из страданий: наблюдать разрушение близкого человека, когда все ускользает и ты не знаешь, что делать. С другой стороны, я точно знала, что это ложь. Мама не стала бы тратить понапрасну. Зачем покупать целую упаковку, если хватит одного лезвия? У нее всегда была склонность проявлять чувства на людях. Я придумала такой компромисс: сказала маме, чтобы она не устраивала спектакль, но сделала себе мысленную пометку, что в следующий раз, когда я приду к ней, надо будет поискать лезвия и потихонечку выкинуть все, что найдется. Если что-то найдется.

С мамой я только и делаю, что подмечаю подробности: когда она засыпает ночью, с очками для чтения, съехавшими с ее сального носа, сколько слоеных пирожных она ест на завтрак, — я пытаюсь отслеживать каждую

мелочь. Я знаю, как уходить от ответственности; знаю, где именно шероховатая поверхность истории отполирована до зеркального блеска.

Иногда, когда я ее навещаю, она просит меня позвонить ее старым подругам, которых давно нет в живых.

Когда-то мама с первого раза запоминала любой кулинарный рецепт. Без труда вспоминала составы чаев, которыми ее угощали в гостях. Готовя еду, она брала нужные специи с полки не глядя.

Она помнила, как соседи-меманы — к ужасу домовладельца-джайна — резали коз в Курбан-байрам на балконе над прежней квартирой ее родителей и как портной-мусульманин с жесткими, словно проволока, волосами однажды вручил ей маленький ржавый тазик, чтобы собирать кровь. Она помнила металлический привкус во рту. Помнила, как облизала свои алые пальцы.

— Моя первая в жизни невегетарианская еда, — сказала она.

Мы сидели у реки в Аланди. Паломники мылись, скорбящие высыпали прах в мутную воду. Река цвета гангрены вяло несла свои воды куда-то вдаль. Маме хотелось хоть ненадолго сбежать из дома, от бабушки, от разговоров о моем отце. Это было в тот промежуточный период, когда мы уже ушли из ашрама, но меня еще не отослали в монастырскую школу. У нас с мамой установилось временное перемирие,

и тогда я еще верила, что все худшее позади. Она не сказала, куда мы идем в темноте, и я не сумела прочесть табличку в окне автобуса, на который мы сели. У меня урчало в животе от страха, что мы вновь исчезнем по маминому капризу, но мы просто сидели у реки, там, где нас высадил безмянный автобус, и, когда взошло солнце, лужи бензина, разлившегося по воде, заискрились всеми цветами радуги. Когда стало жарко, мы вернулись домой. Бабушка с дедушкой были в ярости, но мама сказала, что мы гуляли по микрорайону. Они ей поверили, потому что хотели поверить, хотя ее выдумка получилась не слишком правдоподобной, потому что их микрорайон был не настолько большим, чтобы в нем потеряться. Мама улыбалась, когда говорила, — врать она мастерица.

Ее вранье произвело на меня впечатление. Одно время мне тоже хотелось освоить умение врать без зазрения совести; других полезных умений у матери не было. Дедушка с бабушкой расспросили привратника, но он не смог ничего подтвердить — он часто спал на посту. Так что мы как бы приостановились в этой мертвой точке, как это будет еще не раз, и каждый держался за свою ложь в твердой уверенности, что его интересы возобладают. Позже бабушка с дедушкой расспросили меня еще раз, и я повторила мамину выдумку. Тогда я еще не умела думать своей головой. Я была послушной, как пес.

Иногда я говорю о маме в прошедшем времени, хотя она еще жива. Она бы, наверное, обиделась, если бы смогла это запомнить. На данный момент Дилип — ее любимчик. Дилип — идеальный зять. Их общение не затуманено ожиданиями. Он не знал маму такой, какой она была раньше, — он принимает ее такой, как есть, и с радостью вновь называет себя, если она забывает, как его зовут.

Мне хочется воспринимать ее так же, но та мама, которую я помню, появляется и исчезает передо мной: заводная кукла с испорченным механизмом. Кукла больше не движется. Чары рассеялись. Ребенок не знает, что реально, что нет. Не знает, чему можно верить. Может, она никогда и не знала. Ребенок плачет.

Жалко, что в Индии нет эвтаназии, как в Нидерландах. Не только ради достоинства пациента, но и ради достоинства всех причастных.

Я должна горевать, а не злиться.

Иногда я все-таки плачу, когда меня никто не видит. Да, я горюю, но тело сжигать еще рано.

Часы на стене в кабинете врача настойчиво требуют к себе внимания. Часовая стрелка застыла на единице. Минутная — между восьмеркой и девяткой. В таком положении они остаются уже полчаса. Часы на стене — угасающий пережиток иных времен. Они давно поломались, и никто их не заменил.

Но что бесит больше всего, так это секундная стрелка, единственная из всех стрелок, которая движется. Не только вперед, но и назад: то туда, то сюда, с беспорядочными, совершенно непредсказуемыми интервалами.

У меня урчит в животе.

Слышимый вздох облегчения проносится по приемной, когда секундная стрелка прекращает движение, но она притворяется мертвой лишь долю мгновения и сдвигается снова. Я на нее не смотрю, но тиканье разносится эхом по всей комнате.

Я смотрю на маму. Она дремлет на стуле.

Я буквально физически ощущаю, как тиканье настенных часов проходит сквозь мое тело, меняет мой сердечный ритм. Это не просто тик-так. Тик-так — вездесущее звучание, пульс, дыхание, слово. Тик-так содержит в себе биологический резонанс, который ты пропускаешь через себя, даже не замечая. Но это тиканье совсем другое: тик-тик-тик, потом долгая пауза, а затем так-тик-так.

Мама спит, открыв рот, бесформенный, точно смятый бумажный пакет.

Сквозь панель из волнистого стекла мне видны какие-то люди, сгрудившиеся вокруг узкого стола. Они слушают комментатора крикетного матча, ликут, купаясь в радиоволнах, истекающих из динамика. Тиканье снова меняет ритм.

В кабинете у доктора нас ожидают другие часы, нарисованные на бумаге. Только круг циферблата и стрелки, без цифр.



— Проставьте, пожалуйста, числа, миссис Ламба, — говорит маме врач.

Она берет у него механический карандаш и начинает с цифры «один». На «пятнадцати» врач говорит, что достаточно.

— Вы знаете, какое сегодня число?

Мама смотрит на меня, потом снова на доктора. Пожимает плечами. Одно плечо поднимается выше другого. Каждое проявление ее физической деградации вызывает пронзительное отвращение. Я смотрю в стену, выкрашенную в кремовый цвет. Дипломы и сертификаты висят кривовато.

— А какой сейчас год?

Мама медленно кивает.

— Начните с тысяч, — говорит врач.

Она открывает рот, уголки ее губ опускаются вниз, как у рыбы.

— Тысяча девятьсот... — медленно произносит она, глядя куда-то в пространство.

Врач качает головой:

— Вы, наверное, хотели сказать «две тысячи»?

Она радостно с ним соглашается и улыбается, словно гордится каким-то большим достижением. Мы с врачом выразительно переглядываемся.

Он говорит, что в особенных случаях они делают пункцию для диагностического извлечения спинномозговой жидкости, но он пока не решил, можно ли квалифицировать мамин случай как особенный. Он направляет ее на УЗИ и анализы крови, щупает лимфоузлы, крепит

снимок маминого мозга на подсвеченную стеклянную панель. Анализирует расположение теней, ищет черные дыры. Он утверждает, что у нее мозг молодой женщины. Мозг, который прекрасно справляется со своими функциями.

Я уточняю, каковы функции мозга. Активировать нейроны и распределять электрические сигналы?

Он смотрит, прищурившись, и не отвечает на мой вопрос. У него квадратная челюсть и, похоже, неправильный прикус.

— Но мама все забывает, — говорю я.

— Да, так и есть, — говорит он, и теперь я различаю его шепелявость. Врач рисует картинку на листе бумаги. Человеческий мозг в виде пушистого облака. Он слишком быстро отрывает ручку от бумаги, и волнистые линии получаются разомкнутыми, словно облако продырявлено. — В таких случаях следует ожидать постепенного снижения когнитивных способностей, которое выражается в потере памяти и изменении личности. Симптомы, не так уж и сильно отличные от тех, что мы уже замечаем. Что замечаете вы, — поправляется он. — Пока непонятно, насколько крепка ее связь с реальностью на данный момент.

Он берет карандаш и заштриховывает те участки, где синаптический аппарат дает сбой, где отмирают нейроны. Девственно белое облако наполняется темными пятнами. Просветы в разомкнутых линиях начинают казаться истинной благодатью, сквозь них внутрь проходит